

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как-то раз в моем присутствии один из канцлерских судей любезно объяснил обществу примерно в полтора человека, которых никто не подозревал в слабоумии, что хотя предубеждения против Канцлерского суда распространены очень широко (тут судья, кажется, покосился в мою сторону), но суд этот на самом деле почти безупречен. Правда, он признал, что у Канцлерского суда случались кое-какие незначительные промахи — один-два на протяжении всей его деятельности, но они были не так велики, как говорят, а если и произошли, то только лишь из-за «скаредности общества»: ибо это зловерное общество до самого последнего времени решительно отказывалось увеличить количество судей в Канцлерском суде, установленное — если не ошибаюсь — Ричардом Вторым, а впрочем, не важно, каким именно королем.

Эти слова показались мне шуткой, и, не будь она столь тяжелой, я решил бы включить ее в эту книгу и вложил бы ее в уста Велеречивого Кенджа или мистера Воулса, так как ее, вероятно, придумал либо тот, либо другой. Они могли бы даже присовокупить к ней подходящую цитату из шекспировского сонета:

Красильщик скрыть не может ремесло,
Так на меня проклятое занятие
Печатью несмываемой легло.
О, помоги мне смыть мое проклятье!¹

Но скаредному обществу полезно знать о том, что именно происходило и все еще происходит в судейском мире, поэтому заявляю, что все написанное на этих страницах о Канцлерском суде — истинная правда и не грешит против правды. Излагая дело Гридли, я только пересказал, не изменив ничего по существу, историю одного ис-

¹ Перевод С. Маршака.

тинного происшествия, опубликованную беспристрастным человеком, который по роду своих занятий имел возможность наблюдать это чудовищное злоупотребление с самого начала и до конца. В настоящее время¹ в суде разбирается тяжба, которая была начата почти двадцать лет тому назад; в которой иногда выступало от тридцати до сорока адвокатов одновременно; которая уже обошлась в семьдесят тысяч фунтов, истраченных на судебные пошлины; которая является *дружеской тяжбой* и которая (как меня уверяют) теперь не ближе к концу, чем в тот день, когда она началась. В Канцлерском суде разбирается и другая знаменитая тяжба, все еще не решенная, а началась она в конце прошлого столетия и поглотила в виде судебных пошлин уже не семьдесят тысяч фунтов, а в два с лишком раза больше. Если бы понадобились другие доказательства того, что тяжбы, подобные делу «Джарндисы против Джарндисов», существуют, я мог бы в изобилии привести их на этих страницах к стыду... скаредного общества.

Есть еще одно обстоятельство, о котором я хочу коротко упомянуть. С того самого дня, как умер мистер Крук, некоторые лица отрицают, что так называемое *самовозгорание* возможно; после того как кончина Крука была описана, мой добрый друг, мистер Льюис (быстро убедившийся в том, что глубоко ошибается, полагая, будто специалисты уже перестали изучать это явление), опубликовал несколько остроумных писем ко мне, в которых доказывал, что самовозгорания быть не может. Должен заметить, что я не ввожу своих читателей в заблуждение ни умышленно, ни по небрежности и, перед тем как писать о самовозгорании, постарался изучить этот вопрос. Известно около тридцати случаев самовозгорания, и самый знаменитый из них, происшедший с графиней Корнелией де Баиди Чезенате, был тщательно изучен и описан веронским пребендарием² Джузеппе Бианкини, известным литератором, опубликовавшим статью об этом случае в 1731 году в Вероне и позже, вторым изданием, в Риме. Обстоятельства смерти графини не вызывают никаких обоснованных сомнений и весьма сходны с обстоятельствами смерти мистера Крука. Вторым в ряду наиболее известных происшествий этого рода можно считать случай, имевший место в Реймсе шестью годами раньше и описанный доктором Ле Ка, одним из самых известных хирургов во Франции. На этот раз умерла женщина, мужа

¹ В августе 1853 г. (Примеч. автора.)

² *Пребендарий* — духовное лицо, управляющее церковным округом.

ХОЛОДНЫЙ ДОМ

которой, по недоразумению, обвинили в ее убийстве, но оправдали после того, как он подал хорошо аргументированную апелляцию в вышестоящую инстанцию, так как свидетельскими показаниями было неопровержимо доказано, что смерть последовала от самовозгорания. Я не считаю нужным добавлять к этим знаменательным фактам и тем общим ссылкам на авторитет специалистов, которые даны в главе XXXIII¹, мнения и исследования знаменитых профессоров-медиков, французских, английских и шотландских, опубликованные в более позднее время; отмечу только, что не откажусь от признания этих фактов, пока не произойдет основательное «самовозгорание» тех свидетельств, на которых основываются суждения о происшествиях с людьми.

В «Холодном доме» я намеренно подчеркнул романтическую сторону будничной жизни.

¹ Другой случай, очень обстоятельно описанный одним зубным врачом, был отмечен в Соединенных Штатах Америки, в городе Колумбусе, совсем недавно. Он произошел с немцем, содержателем винной лавки, горьким пьяницей. (*Примеч. автора.*)



ГЛАВА I В КАНЦЛЕРСКОМ СУДЕ

Лондон. Осенняя судебная сессия — «Сессия Михайлова дня» — недавно началась, и лорд-канцлер восседает в Линкольнс-Инн-Холле. Несносная ноябрьская погода. На улицах такая слякоть, словно воды потопа только что схлынули с лица земли, и, появившись на Холборн-Хилле мегалозавр длиной футов в сорок, плетущийся, как слоноподобная ящерица, никто бы не удивился. Дым стелется, едва поднявшись из труб, он словно мелкая черная изморось, и чудится, что хлопья сажи — это крупные снежные хлопья, надевшие траур по умершему солнцу. Собаки так вымазались в грязи, что их и не разглядишь. Лошади едва ли лучше — они забрызганы по самые наглазники. Пешеходы, поголовно заразившись раздражительностью, тычут друг в друга зонтами и теряют равновесие на перекрестках, где, с тех пор как рассвело (если только в этот день был рассвет), десятки тысяч других пешеходов успели споткнуться и поскользнуться,

добавив новые вклады в ту уже скопившуюся — слой на слое — грязь, которая в этих местах цепко прилипает к мостовой, нарастая, как сложные проценты.

Туман везде. Туман в верховьях Темзы, где он плывет над зелеными островками и лугами; туман в низовьях Темзы, где он, утратив свою чистоту, клубится между лесом мачт и прибрежными отбросами большого (и грязного) города. Туман на Эссекских болотах, туман на Кентских возвышенностях. Туман ползет в камбузы угольных бригов; туман лежит на ряях и плывет сквозь снасти больших кораблей; туман оседает на бортах баржей и шлюпок. Туман слепит глаза и забивает глотки престарелым гринвичским пенсионерам, хрипящим у каминов в доме призрения; туман проник в чубук и головку трубки, которую курит после обеда сердитый шкипер, засевший в своей тесной каюте; туман жестоко щиплет пальцы на руках и ногах его маленького юнги, дрожащего на палубе. На мостах какие-то люди, перегнувшись через перила, заглядывают в туманную преисподнюю и, сами окутанные туманом, чувствуют себя как на воздушном шаре, что висит среди туч.

На улицах свет газовых фонарей кое-где чуть маячит сквозь туман, как иногда чуть маячит солнце, на которое крестьянин и его работник смотрят с пашни, мокрой, словно губка. Почти во всех магазинах газ зажгли на два часа раньше обычного, и, кажется, он это заметил — светит тускло, точно нехотя.

Сырой день всего сырее, и густой туман всего гуще, и грязные улицы всего грязнее у ворот Тэмпл-Бара, сей крытой свинцом древней заставы, что отменно украшает подступы, но преграждает доступ к некоей свинцовой древней корпорации. А по соседству с Тэмпл-Баром, в Линкольнс-Инн-Холле, в самом сердце тумана восседает лорд верховный канцлер в своем Верховном Канцлерском суде.

И в самом непроглядном тумане, и в самой глубокой грязи и трясине невозможно так запутаться и так увязнуть, как ныне плутает и вязнет перед лицом земли и неба Верховный Канцлерский суд, этот зловреднейший из старых грешников.

День выдался под стать лорд-канцлеру — в такой и только в такой вот день подобает ему здесь восседать, — и лорд-канцлер здесь восседает сегодня с туманным ореолом вокруг головы, в мягкой ограде из малиновых сукон и драпировок, слушая обратившегося к нему дородного адвоката с пышными бакенбардами и тоненьким голоском, читающего нескончаемое краткое изложение судебного дела, и созерцая окно верхнего света, за которым он видит туман и только

туман. День выдался под стать членам адвокатуры при Верховном Канцлерском суде, — в такой-то вот день и подобает им здесь блуждать, как в тумане, и они в числе примерно двадцати человек сегодня блуждают здесь, разбираясь в одном из десяти тысяч пунктов некоей донельзя затянувшейся тяжбы, подставляя ножку друг другу на скользких прецедентах, по колено увязая в технических затруднениях, колотясь головами в защитных париках из козьей шерсти и конского волоса о стены пустословия и по-актерски серьезно делая вид, будто вершат правосудие. День выдался под стать всем причастным к тяжбе поверенным, из коих двое-трое унаследовали ее от своих отцов, зашибивших на ней деньги, — в такой-то вот день и подобает им здесь сидеть, в длинном, устланном коврами «колодце» (хоть и бессмысленно искать Истину на его дне); да они и сидят здесь все в ряд между покрытым красным сукном столом регистратора и адвокатами в шелковых мантиях, навалив перед собой кипы исков, встречных исков, отводов, возражений ответчиков, постановлений, свидетельских показаний, судебных решений, референтских справок и референтских докладов, — словом, целую гору чепухи, что обошлась очень дорого.

Да как же суду этому не тонуть во мраке, рассеять который бесильны горящие там и сям свечи; как же туману не висеть в нем такой густой пеленой, словно он застрял тут навсегда; как цветным стеклам не потускнеть настолько, что дневной свет уже не проникает в окна; как непосвященным прохожим, заглянувшим внутрь сквозь стеклянные двери, осмелиться войти сюда, не убоившись этого зловещего зрелища и тягучих словопрений, которые глухо отдаются от потолка, прозвучав с помоста, где восседает лорд верховный канцлер, созерцая верхнее окно, не пропускающее света, и где все его приближенные париконосцы заблудились в тумане! Ведь это Канцлерский суд, и в любом графстве найдутся дома, разрушенные, и поля, заброшенные по его вине, в любом сумасшедшем доме найдется замученный человек, которого он свел с ума, а на любом кладбище — покойник, которого он свел в могилу; ведь это он разорил истца, который теперь ходит в стоптанных сапогах, в поношенном платье, занимая и клянча у всех и каждого; это он позволяет могуществу денег бессовестно попирает право; это он так истощает состояния, терпение, мужество, надежду, так подавляет умы и разбивает сердца, что нет среди судейских честного человека, который не стремится предостеречь, больше того — который часто не предостерегает людей: «Лучше стерпеть любую обиду, чем подать жалобу в этот суд!»

Так кто же в этот хмурый день присутствует в суде лорд-канцлера, кроме самого лорд-канцлера, адвоката, выступающего по делу, которое разбирается, двух-трех адвокатов, никогда не выступающих ни по какому делу, и вышеупомянутых поверенных в «колодце»? Здесь, в парике и мантии, присутствует секретарь, сидящий ниже судьи; здесь, облаченные в судейскую форму, присутствуют два-три блюстителя не то порядка, не то законности, не то интересов короля. Все они одержимы зевотой — ведь они никогда не получают ни малейшего развлечения от тяжбы *«Джарндисы против Джарндисов»* (того судебного дела, которое слушается сегодня), ибо все интересное было выжато из нее многие годы тому назад. Стенографы, судебные докладчики, газетные репортеры неизменно удирают вместе с прочими завсегдатаями, как только дело Джарндисов выступает на сцену. Их места уже опустели. Стремясь получше разглядеть все, что происходит в задрапированном святилище, на скамью у боковой стены взобралась щупленькая, полоумная старушка в измятой шляпке, которая вечно торчит в суде от начала и до конца заседаний и вечно ожидает, что решение каким-то непостижимым образом состоится в ее пользу. Говорят, она действительно с кем-то судится или судилась; но никто этого не знает наверное, потому что никому до нее нет дела. Она всегда таскает с собой в ридикюле какой-то хлам, который называет своими «документами», хотя он состоит главным образом из бумажных спичек и сухой лаванды. Арестант с землистым лицом является под конвоем — чуть не в десятый раз, — лично просить о снятии с него «обвинения в оскорблении суда», но просьбу его вряд ли удовлетворят, ибо он был когда-то одним из чьих-то душеприказчиков, пережил их всех и безнадежно запутался в каких-то счетах, о которых, по общему мнению, и знать не знал. Тем временем все его надежды на будущее рухнули. Другой разоренный истец, который время от времени приезжает из Шропшира, каждый раз всеми силами стараясь добиться разговора с канцлером после конца заседаний, и которому невозможно растолковать, почему канцлер, четверть века отравлявший ему жизнь, теперь вправе о нем забыть, — другой разоренный истец становится на видное место и следит глазами за судьей, готовый, едва тот встанет, воззвать громким и жалобным голосом: «Милорд!» Несколько адвокатских клерков и других лиц, знающих этого просителя в лицо, задерживаются здесь в надежде позабавиться на его счет и тем разогнать скуку, навеянную скверной погодой.

Нудное судоговорение по делу Джарндисов все тянется и тянется. В этой тяжбе — пугале, а не тяжбе! — с течением времени все так

перепуталось, что никто не может в ней ничего понять. Сами тяжущиеся разбираются в ней хуже других, и общеизвестно, что даже любые два юриста Канцлерского суда не могут поговорить о ней и пять минут без того, чтобы не разойтись во мнениях относительно всех ее пунктов. Нет числа младенцам, что сделались участниками этой тяжбы, едва родившись на свет; нет числа юношам и девушкам, что породнились с нею, как только вступили в брак; нет числа старикам, что выпутались из нее лишь после смерти. Десятки людей с ужасом узнавали вдруг, что они неизвестно как и почему оказались замешанными в тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»; целые семьи унаследовали вместе с нею старые полузабытые распри. Маленький истец или ответчик, которому обещали подарить новую игрушечную лошадку, как только дело Джарндисов будет решено, успевал вырасти, обзавестись настоящей лошадей и ускакать на тот свет. Опекаемые судом красавицы-девушки увяли, сделавшись матерями, а потом бабушками; прошла длинная вереница сменявших друг друга канцлеров; кипы приобщенных к делу свидетельств по искам уступили место кратким свидетельствам о смерти; с тех пор как старый Том Джарндис впал в отчаяние и, войдя в кофейню на Канцлерской улице, пустил себе пулю в лоб, на земле не осталось, кажется, и трех Джарндисов, но тяжба «Джарндисы против Джарндисов» все еще тянется в суде — год за годом, томительная и безнадежная.

Тяжба Джарндисов дает пищу остроумию. Больше ничего хорошего из нее не вышло. Многим людям она принесла смерть, зато в судейской среде она дает пищу остроумию. Каждый референт Канцлерского суда наводил справки в приобщенных к ней документах. Каждый канцлер, в бытность свою адвокатом, выступал в ней от имени того или иного лица. Старшины юридических корпораций — пожилые юристы с сизыми носами и в тупоносых башмаках — не раз удачно острили на ее счет, заседаая после обеда в избранном кругу своей «комиссии по распитию портвейна». Ученики-клерки привыкли оттачивать на ней свое юридическое острословие. Теперешний лорд-канцлер как-то раз тонко выразил всеобщее отношение к тяжбе: видный адвокат мистер Блоуэрс сказал про что-то: «Это будет, когда с неба хлынет картофельный дождь», а канцлер заметил: «Или когда мы распутаем дело Джарндисов, мистер Блоуэрс», и этой шутке тогда до упаду смеялись блюстители порядка, законности и интересов короля.

Трудно ответить на вопрос: сколько людей, даже не причастных к тяжбе «Джарндисы против Джарндисов», было испорчено и совра-

щено с пути истинного ее губительным влиянием. Она развратила всех судейских, начиная с референта, который хранит стопы насаженных на шпильки, пропыленных, уродливо измятых документов, приобщенных к тяжбе, и кончая последним клерком-переписчиком в «Палате шести клерков», переписавшим десятки тысяч листов формата «канцлерский фолио» под неизменным заголовком «Джарндисы против Джарндисов». Под какими бы благовидными предложениями ни совершались вымогательство, надувательство, издевательство, подкуп и волокита, они тлетворны, и ничего, кроме вреда, принести не могут. Даже мальчикам-слугам поверенных, издавна приучившимся не впускать несчастных просителей, уверяя их, будто мистер Чизл, Мизл — или как его там зовут? — сегодня особенно перегружен работой и занят до самого обеда, — даже этим мальчишкам пришлось лишний раз покривить душой из-за тяжбы Джарндисов. Сборщику судебных пошлин она принесла изрядную сумму денег, а в придачу — недоверие ко всем, даже к родной матери, — и презрение к ближним. Чизл, Мизл — или как их там зовут? — привыкли давать себе туманные обещания разобраться в таком-то затянувшемся дельце и посмотреть, нельзя ли чем-нибудь помочь Дризлу, — с которым так плохо обошлись, — но не раньше, чем их контора развяжется с делом Джарндисов. Повсюду рассеяло это злополучное дело семена жульничества и жадности всех видов, и даже те люди, которые наблюдали за развитием тяжбы, находясь за пределами ее порочного круга, сами того не заметив, поддались искушению беспринципно махнуть рукой на все дурное вообще и, предоставив ему идти все тем же дурным путем, столь же беспринципно решили, что если мир плох, значит устроен он как попало и не суждено ему быть хорошим.

Так в самой гуще грязи и в самом сердце тумана восседает лорд верховный канцлер в своем Верховном Канцлерском суде.

— Мистер Тенгл, — говорит лорд верховный канцлер, не вытерпев наконец красноречия этого ученого джентльмена.

— М'лорд? — отзывается мистер Тенгл.

Никто так тщательно не изучил дела «Джарндисы против Джарндисов», как мистер Тенгл. Он этим славится, — говорят даже, будто он со школьной скамьи ничего другого не читал.

— Вы скоро закончите изложение своих доводов?

— Нет, м'лорд... много разнообразных вопросов... но мой долг повиноваться... ваш'милости, — выскальзывает ответ из уст мистера Тенгла.

— Мы должны выслушать еще нескольких адвокатов, не правда ли? — говорит канцлер с легкой усмешкой.

Восемнадцать ученых собратьев мистера Тенгла, каждый из которых вооружен кратким изложением дела на восемнадцати сотнях листов, подскочив, словно восемнадцать молоточков в рояле, и отвесив восемнадцать поклонов, опускаются на свои восемнадцать мест, тонутих во мраке.

— Мы продолжим слушание дела через две недели, в среду, — говорит канцлер.

Надо сказать, что вопрос, подлежащий обсуждению, это всего лишь вопрос о судебных пошлинах, ничтожный росток в дремучем лесу породившей его тяжбы, — и уж он-то, несомненно, будет разрешен рано или поздно.

Канцлер встает; адвокаты встают; арестанта поспешно выводят вперед; человек из Шропшира взывает: «Милорд!» Блюстители порядка, законности и интересов короля негодуяще кричат: «Тише!» — бросая суровые взгляды на человека из Шропшира.

— Что касается, — начинает канцлер, все еще продолжая судоговорение по делу «Джарндисы против Джарндисов», — что касается молодой девицы...

— Прош'прощенья, ваш'милость... молодого человека, — преждевременно вскакивает мистер Тенгл.

— Что касается, — снова начинает канцлер, произнося слова особенно внятно, — молодой девицы и молодого человека, то есть обоих молодых людей...

(Мистер Тенгл повержен во прах.)

— ...коих я сегодня вызвал и кои сейчас находятся в моем кабинете, то я побеседую с ними и рассмотрю вопрос — целесообразно ли вынести решение о дозволении им проживать у их дяди.

Мистер Тенгл снова вскакивает.

— Прош'прощенья, ваш'милость... он умер.

— Если так, — канцлер, приложив к глазам лорнет, просматривает бумаги на столе, — то у их деда.

— Прош'прощенья, ваш'милость... дед пал жертвой... собственной опрометчивости... пустил пулю в лоб.

Тут из дальних скоплений тумана внезапно возникает крохотный адвокат и, пыжась изо всех сил, гудит громоподобным басом:

— Ваша милость, разрешите мне? Я выступаю от имени своего клиента. Молодым людям он приходится родственником в отдаленной степени родства. Я пока не имею возможности доложить суду — в какой именно степени, но он бесспорно их родственник.

Эта речь (произнесенная замогильным голосом) еще звучит где-то в вышине меж стропилами, а крохотный адвокат уже плюхнулся на свое место, скрывшись в тумане. Все его ищут глазами. Никто не видит его.

— Я побеседую с обоими молодыми людьми, — повторяет канцлер, — и рассмотрю вопрос о дозволении им проживать у их родственника. Я сообщу о своем решении завтра утром, когда открою заседание.

Канцлер уже собирается легким поклоном отпустить адвокатов, но тут подводят арестанта. Его запутанные дела, по-видимому, невозможно распутать, и остается только отдать приказ отвести его обратно в тюрьму, что и выполняют немедленно. Человек из Шропшира решается воззвать еще раз: «Милорд!» — но канцлер, заметив его, мгновенно исчезает. Все остальные тоже исчезают мигом. Батарею синих мешков заряжают тяжелыми бумажными снарядами, и клерки тащат ее прочь; полоумная старушка удаляется вместе со своими документами; опустевший суд запирают.

О, если б можно было здесь запереть всю им содеянную несправедливость, все горе, им принесенное, и сжечь дотла вместе с ним как огромный погребальный костер, — какое это было бы счастье и для лиц, непрichастных к тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»!

ГЛАВА II В БОЛЬШОМ СВЕТЕ

В этот слякотный день нам довольно лишь мельком взглянуть на большой свет. Он не так уж резко отличается от Канцлерского суда, и нам нетрудно будет сразу же перенестись из одного мира в другой. И большой свет и Канцлерский суд скованы прецедентами и обычаями: они — как заспавшиеся Рипы Ван-Уинклы¹, что и в сильную грозу играли в странные игры; они — как спящие красавицы, которых когда-нибудь разбудит рыцарь, после чего все вертелы в кухне, теперь неподвижные, завертятся стремительно!

Большой свет не велик. Даже по сравнению с миром таких, как мы, впрочем тоже имеющих свои пределы (в чем вы, ваша светлость, убедитесь, когда, изъездив его вдоль и поперек, окажетесь пе-

¹ *Рип Ван-Уинкл* — герой одноименного рассказа В. Ирвинга, проспавший двадцать лет.

ред зияющей пустотой), большой свет — всего лишь крошечное пятнышко. В нем много хорошего; много хороших, достойных людей; он занимает предназначенное ему место. Но все зло в том, что этот изнеженный мир живет, как в футляре для драгоценностей, слишком плотно закутанный в мягкие ткани и тонкое сукно, а потому не слышит шума более обширных миров, не видит, как они вращаются вокруг солнца. Это отмирающий мир, и порождения его болезненны, ибо в нем нечем дышать.

Миледи Дедлок вернулась в свой лондонский дом и дня через три-четыре отбудет в Париж, где ее милость собирается пробыть несколько недель; куда она отправится потом, еще неизвестно. Так, стремясь осчастливить парижан, предвещает великосветская хроника, а кому, как не ей, знать обо всем, что делается в большом свете. Узнавать об этом из других источников было бы не по-светски. Миледи Дедлок провела некоторое время в своей линкольнширской «усадьбе», как она говорит, беседуя в тесном кругу. В Линкольншире настоящий потоп. Мост в парке обрушился — одну его арку подмыло и унесло паводком. Низина вокруг превратилась в запруженную реку шириной в полмили, и унылые деревья островками торчат из воды, а вода вся в пузырьках — ведь дождь льет и льет день-деньской. В «усадьбе» миледи Дедлок скука была невыносимая. Погода стояла такая сырая, много дней и ночей напролет так лило, что деревья, должно быть, отсырели насквозь, и когда лесник подсекает и обрубают их, не слышно ни стука, ни треска — кажется, будто топор бьет по-мягкому. Олени, наверное, промокли до костей, и там, где они проходят, в их следах стоят лужицы. Выстрел в этом влажном воздухе звучит глухо, а дымок из ружья ленивым облачком тянется к зеленому холму с рощицей на вершине, на фоне которого отчетливо выделяется сетка дождя. Вид из окон в покоях миледи Дедлок напоминает то картину, написанную свинцовой краской, то рисунок, сделанный китайской тушью. Вазы на каменной террасе перед домом весь день наполняются дождевой водой, и всю ночь слышно, как она переливается через край и падает тяжелыми каплями — кап-кап — на широкий настил из плитняка, исстари прозванный «Дорожкой призрака». В воскресенье пойдешь в церковку, что стоит среди парка, видишь — вся она внутри заплесневела, на дубовой кафедре выступил холодный пот, и чувствуешь такой запах, такой привкус во рту, словноходишь в склеп дедлоковских предков. Как-то раз миледи Дедлок (женщина бездетная), глядя ранними сумерками из своего будуара на сторожку привратника, увидела отблеск каминного пламени на стеклах решетчатых окон, и дым, поднимающийся

из трубы, и женщину, догоняющую ребенка, который выбежал под дождем к калитке навстречу мужчине в клеенчатом плаще, блестящем от влаги, — увидела и потеряла душевное спокойствие. И миледи Дедлок теперь говорит, что все это ей «до смерти надоело».

Вот почему миледи Дедлок сбежала из линкольнширской усадьбы, предоставив ее дождю, воронам, кроликам, оленям, куропаткам и фазанам. А в усадьбе домоправительница прошла по комнатам старинного дома, закрывая ставни, и портреты покойных Дедлоков исчезли — словно скрылись от неизбежной тоски в отсыревшие стены. Скоро ли они вновь появятся на свет Божий — этого даже великосветская хроника, всеведущая, как дьявол, когда речь идет о прошлом и настоящем, но не ведающая будущего, пока еще предсказать не решается.

Сэр Лестер Дедлок всего лишь баронет, но нет на свете баронета более величественного. Род его так же древен, как горы, но бесконечно почтеннее. Сэр Лестер склонен думать, что мир, вероятно, может обойтись без гор, но он погибнет без Дедлоков. О природе он, в общем, мог бы сказать, что замысел ее хорош (хоть она, пожалуй, немножко вульгарна, когда не заключена в ограду парка), но замысел этот еще предстоит осуществить, что всецело зависит от нашей земельной аристократии. Это джентльмен строгих правил, презирающий все мелочное и низменное, и он готов когда угодно пойти на какую угодно смерть, лишь бы на его безупречно честном имени не появилось ни малейшего пятнышка. Это человек почтенный, упрямый, правдивый, великодушный, с закоренелыми предрассудками и совершенно неспособный прислушиваться к голосу разума.

Сэр Лестер на добрых два десятка лет старше миледи. Ему уже перевалило за шестьдесят пять или шестьдесят шесть лет, а то и за все шестьдесят семь. Время от времени он страдает приступами подагры, и походка у него немного деревянная. Вид у него представительный: серебристо-седые волосы и бакенбарды, тонкое жабо, белоснежный жилет, синий сюртук, который всегда застегнут на все пуговицы, начищенные до блеска. Он церемонно учтив, важен, изысканно вежлив с миледи во всех случаях жизни и превыше всего ценит ее обаяние. К миледи он относится по-рыцарски, — так же, как в те времена, когда добивался ее руки, — и это — единственная романтическая черточка в его натуре.

Что и говорить, женился он на ней по любви, только по любви. До сего времени ходят слухи, будто она даже не родовита; впрочем, сам сэр Лестер происходит из столь знатного рода, что, вероятно, ре-

шил удовлетворяться им и обойтись без новых родственных связей. Зато миледи так прекрасна, так горда и честолюбива, одарена такой дерзновенной решительностью и умом, что может затмить целый легион светских дам. Эти качества в сочетании с богатством и титулом быстро помогли ей подняться в высшие сферы, и вот уже много лет, как миледи Дедлок пребывает в центре внимания великосветской хроники, на верхней ступени великосветской лестницы.

О том, как лил слезы Александр Македонский, осознав, что он завоевал весь мир и больше завоевывать нечего, знает каждый или может узнать теперь, потому что об этом стали упоминать довольно часто. Миледи Дедлок, завоевав *свой* мирок, не только не изошла слезами, но как бы оледенела. Утомленное самообладание, равнодушные пресыщения, такая невозмутимость усталости, что никаким интересам и удовольствиям ее не всколыхнуть, — вот победные трофеи этой женщины. Держится она безукоризненно. Если бы завтра ее вознесли на небеса, она, вероятно, поднялась бы туда, не выразив ни малейшего восторга.

Она все еще хороша собой, и хотя красота ее уже пережила летний расцвет, но осень для нее еще не настала. Лицо у леди Дедлок примечательное — раньше его можно было назвать скорее очень милым, чем красивым, но с годами оно приобрело выражение, свойственное лицам высокопоставленных женщин, и это придало ее чертам классическую строгость. Она очень стройна и потому кажется высокой. На самом деле она среднего роста, но, как не раз клятвенно утверждал достопочтенный Боб Стейблс, «она умеет выставить свои стати в самом выгодном свете». Тот же авторитетный ценитель находит, что «экстерьер у нее безупречный», и, в частности, по поводу ее прически отмечает, что она «самая выхолненная кобылица во всей конюшне».

Итак, украшенная всеми этими совершенствами, миледи Дедлок (неотступно преследуемая великосветской хроникой) приехала в Лондон из линкольнширской усадьбы, чтобы провести дня три-четыре в своем городском доме, а затем отбыть в Париж, где ее милость собирается прожить несколько недель; куда она отправится потом, пока еще не ясно. А в городском ее доме в этот слякотный, хмурый день появляется старосветский пожилой джентльмен, ходатай по делам, а также поверенный при Верховном Канцлерском суде, имеющий честь быть фамильным юрисконсультком Дедлоков, имя которых начертано на стольких чугунных ящиках, стоящих в его конторе, как будто ныне здравствующий баронет не человек, а моне-

та, непрерывно перелетающая по мановению фокусника из одного ящика в другой. Через вестибюль, вверх по лестнице, по коридорам, по комнатам, столь праздничным во время лондонского сезона и столь унылым остальное время года — страна чудес для посетителей, но пустыня для обитателей, — Меркурий в пудреном парике провожает пожилого джентльмена к миледи.

Пожилой джентльмен выглядит немного обветшалым, хотя, по слухам, он очень богат, ибо нажил большое состояние на заключении брачных договоров и составлении завещаний для членов аристократических семейств. Окруженный таинственным ореолом хранителя семейных тайн, он, как всем известно, владеет ими, не открывая их никому. Мавзолеи аристократии, век за веком врастающие в землю на уединенных прогалинах парков, среди молодой поросли и папоротника, хранят, быть может, меньше аристократических тайн, чем грудь мистера Талкингхорна, запертые в которой эти тайны бродят вместе с ним по белу свету. Он, что называется, «человек старой школы» — в этом образном выражении речь идет о школе, которая, кажется, никогда не была молодой, — и носит короткие штаны, стянутые лентами у колен, и гетры или чулки. Его черный костюм и черные чулки, все равно шелковые они или шерстяные, имеют одну отличительную особенность: они всегда тусклы. Как и он сам, платье его не бросается в глаза, застегнуто наглухо и не меняет своего оттенка даже при ярком свете. Он ни с кем никогда не разговаривает — разве только если с ним советуются по юридическим вопросам. Иногда можно увидеть, как он, молча, но чувствуя себя как дома, сидит в каком-нибудь крупном поместье на углу обеденного стола или стоит у дверей гостиной, о которой красноречиво повествует великосветская хроника; здесь он знаком со всеми, и половина английской знати, проходя мимо, останавливается, чтобы сказать ему: «Какживаете, мистер Талкингхорн?» Он без улыбки принимает эти приветствия и хоронит их в себе вместе со всем, что ему известно.

Сэр Лестер Дедлок сидит у миледи и рад видеть мистера Талкингхорна. Мистер Талкингхорн как будто сознает, что принадлежит Дедлокам по праву давности, а это всегда приятно сэру Лестеру; он принимает это как некую дань. Ему нравится костюм мистера Талкингхорна: подобный костюм тоже в некотором роде — дань. Он безукоризненно приличен, но все-таки чем-то смахивает на ливрею. Он облакает, если можно так выразиться, хранителя юридических тайн, дворецкого, ведающего юридическим погребом Дедлоков.

Подозревает ли об этом сам мистер Талкингхорн? Быть может, да, а может быть, и нет; но следует отметить одну замечательную

особенность, свойственную миледи Дедлок, как дочери своего класса, как одной из предводительниц и представительниц своего мира: смотрясь в зеркало, созданное ее воображением, она видит себя каким-то непостижимым существом, совершенно недоступным для понимания простых смертных, и в этом зеркале она действительно выглядит так. Однако любая тусклая планетка, вращающаяся вокруг нее, начиная с ее собственной горничной и кончая директором Итальянской оперы, знает ее слабости, предрассудки, причуды, аристократическое высокомерие, капризы и кормится тем, что подсчитывает и измеряет ее душевные качества с такой же точностью и так же тщательно, как портниха снимает мерку с ее талии.

Допустим, что понадобилось создать моду на новый фасон платья, новый обычай, нового певца, новую танцовщицу, новое драгоценное украшение, нового карлика или великана, новую часовню — что-нибудь новое, все равно что. Этим займутся угодливые люди самых различных профессий, которые, по глубокому убеждению миледи Дедлок, способны лишь на преклонение перед ее особой, но в действительности могут научить вас командовать ею, как ребенком, — люди, которые всю свою жизнь только и делают, что нянчатся с ней, смиренно притворяясь, будто следуют за нею с величайшим подострастием, на самом же деле ведут ее и всю ее свиту на поводу и, зацепив одного, непременно зацепят и уведут всех, куда хотят, как Лемюэль Гулливер увел грозный флот величественной Лилипутии.

— Если вы хотите привлечь внимание наших, сэр, — говорят ювелиры Блейз и Спаркл, подразумевая под «нашими» леди Дедлок и ей подобных, — вы должны помнить, что имеете дело не с широкой публикой; вы должны поразить их в самое уязвимое место, а их самое уязвимое место — вот это.

— Чтобы выгодно распродать этот товар, джентльмены, — говорят галантерейщики Шийн и Глосс своим знакомым фабрикантам, — вы должны обратиться к нам, потому что мы умеем привлекать светскую клиентуру и можем создать моду на ваш товар.

— Если вы желаете видеть эту гравюру на столе у моих высокопоставленных клиентов, сэр, — говорит книгопродавец мистер Следдери, — если вы желаете ввести этого карлика или этого великана в дома моих высокопоставленных клиентов, сэр, если вы желаете обеспечить успех этому спектаклю у моих высокопоставленных клиентов, сэр, осмелюсь посоветовать вам поручить это дело мне, ибо я имею обыкновение изучать тех, кто задает тон в среде моих высокопоставленных клиентов, сэр, и, скажу не хвастаясь, могу обвести их вокруг пальца.